Вымысел

Автор:
Зинаида Гиппиус

Вымысел

Зинаида Николаевна Гиппиус

«Поздним вечером, около полуночи, сидели у потухающего камелька пятеро старых друзей и рассказывали друг другу истории.

Многие думают, что в теперешнее время этого больше не случается. Бывало изредка в начале прошлого столетия, стало учащаться к середине, потом, во времена Тургенева, казалось – постоянно где-нибудь да собираются старые друзья у камелька и рассказывают истории; а теперь, действительно, об этом совсем не слышно, ни у нас, ни за границей, – во Франции, например. По крайней мере, повествователи нам об этом никогда больше не говорят. Боятся ли они удлинить свое повествование и утомить занятого читателя, хотят ли непременно выдать рассказ приятеля за свое собственное измышление, или, может быть, действительно нет больше таких, приятных друг другу людей, которые засиживались бы вместе у камелька и умели слушать чужие истории – кто знает? Но хоть редко – а это случается и в наши времена. По крайней мере, случилось в тот вечер, о котором я рассказываю…»

Зинаида Гиппиус

Вымысел

Вечерний рассказ

I

Поздним вечером, около полуночи, сидели у потухающего камелька пятеро старых друзей и рассказывали друг другу истории.

Многие думают, что в теперешнее время этого больше не случается. Бывало изредка в начале прошлого столетия, стало учащаться к середине, потом, во времена Тургенева, казалось – постоянно где-нибудь да собираются старые друзья у камелька и рассказывают истории; а теперь, действительно, об этом совсем не слышно, ни у нас, ни за границей, – во Франции, например. По крайней мере, повествователи нам об этом никогда больше не говорят. Боятся ли они удлинить свое повествование и утомить занятого читателя, хотят ли непременно выдать рассказ приятеля за свое собственное измышление, или, может быть, действительно нет больше таких, приятных друг другу людей, которые засиживались бы вместе у камелька и умели слушать чужие истории – кто знает? Но хоть редко – а это случается и в наши времена. По крайней мере, случилось в тот вечер, о котором я рассказываю.

Они были не только старые друзья, но и старые люди. То есть не так, чтобы очень старые, – между сорока и пятидесятью все, и все – холостяки. Оттого, может быть, они и засиделись вместе у камелька, и умели слушать друг друга, покуривая кто папиросу, кто тихую душистую сигару и медленно прихлебывая из стаканов славное, маслянистое вино. Есть какое-то особенное, мягкое достоинство у старого, спокойного холостяка. Он не рассеян, он весь всегда тут, и всегда готов к дружбе, и когда слушает – то слушает с удовольствием и вниманием. Его интересует мир, и – почти одинаково – чужое и собственное отношение к миру. Тогда как не холостяка главным образом интересует свое отношение к своему маленькому миру, а если не интересует – то заботит, а не заботит – то досаждает, – но, во всяком случае, маленький мир хоть отчасти да заслоняет ему большой.

Собрались в квартире Лядского, статного, моложавого человека лет сорока пяти, с седыми, волнистыми волосами и доброй улыбкой. Глаза, впрочем, смотрели не без строгости. Он был директором какого-то департамента, где его даже любили. Остальные – почти все – не сослуживцы, а старые товарищи по школе, по университету, разошедшиеся по разным дорогам; но прежнюю близость они умели сохранить.

Темные обои. Темные занавеси. Темные ковры. Тяжелая темная мебель. Одинокая электрическая лампа ласковая, под низким абажуром – и ласковые малиновые угли в камине с бегающими синими огоньками. Говорили – о будущем. Просто – о темноте будущей судьбы каждого человека, о желании всякого проникнуть в эту тьму, о предсказаниях, о предчувствиях, о пророчествах. Казалось бы – чем может будущее интересовать немолодых людей, у которых почти вся жизнь позади? Но они и говорили не только о себе, а обо всех людях, молодых и старых, об их стремлениях и о законах судьбы.

– В древние времена, – сказал Лядский, – когда люди верили в непобедимый Рок, – они все-таки составляли гороскопы, спрашивали оракулов, пророчиц; казалось бы – зачем? Эдип, зная свою судьбу, не избег ее. Теперь мы верим в свободную волю; вот когда нужны бы нам пророчицы, гороскопы и вера в них. Теперь знание будущего могло бы изменить и осмыслить жизнь.

– Ты думаешь? – спросил один из друзей, худощавый человек, длинный, очень хорошо одетый, с седеющими усами. Он сидел в кресле у самого камина и почти все время молчал. По особенной манере держаться, мягкой и скромной, в нем можно было узнать дипломата, человека чаще слушающего, но умеющего и говорить. Звали его Политов.

Лядский ответил ему, не торопясь:

– Да, мне кажется. А ты…

– Я думаю иначе. Ты напомнил мне одно странное происшествие… Одну встречу… Я, впрочем, и не забывал ее никогда. Это долго рассказывать, но если хотите – я вам расскажу. Я никогда никому о ней не говорил, – не знаю почему. Просто, может быть, случая не было. А сегодняшний разговор так близко подходит к моему воспоминанию. И лет так много прошло…

Вот что рассказал Политов.

II

В дни моей молодости, когда я только что начинал служить, меня прикомандировали к посольству в Париже. Прожил я там год, два, обжился, сошелся кое с кем, и, странно, сошелся ближе всего с кружками художников, литераторов. Были между ними пренесносные, препошлые люди, – но зато попадались и живые, умные, такие, с которыми я говорил не скучая. Несмотря на мою молодость – что же, мне было лет двадцать пять – я не любил пустозвонного французского веселья, которое мне и тогда казалось каким-то примитивным, скучноватым. Впрочем, я общества не избегал и ни от чего, при случае, не отказывался.

Пришлось мне однажды попасть, через моего приятеля, художника Lebrun, на пышный банкет другого художника, маститого, всем известного, Эльдона, в его собственном отеле. Банкет давался по случаю… вот уж не могу припомнить, по какому случаю. Fermeture… ouverture…[1 - Закрытие… открытие… (фр.).] не знаю, но было торжество, и чествование, и был, как говорили, весь художественный и артистический мир: были и дамы. Помню длинный стол и его сверканье, какие-то удушливые цветы на скатерти и эту добрую m-me Эльдон, хозяйку, толстую, великолепную, красную и тоже всю сверкающую. Она даже что-то говорила, за что-то благодарила, улыбалась и чокалась тихим, приятным жестом.

Приятель мой занят был усиленным разговором со своей левой соседкой, моя соседка справа тоже говорила не со мной; я очутился один в шумящей толпе, которая смеялась и радовалась без меня. Я был рад молчать. Можно было смотреть. И я смотрел. И я смотрел на цепь лиц против меня. Начал справа. Одно, другое, третье… Когда быстро переводишь глаза с одного человека на другого, то кажется, что это все одно и то же лицо так странно меняется, потому что – хотя лица и разные – есть между ними всегда неприятное и несомненное сходство…

Четыре, пять, шесть… И вдруг глаза мои остановились. Я уже почти дошел до левого конца стола, и женщина, на лице которой неожиданно остановились мои глаза, сидела от меня наискосок, влево, почти около хозяев. Букет увядающих бледных роз чуть-чуть заслонял ее от меня, но, наклонив немного голову, я мог ее видеть всю. Не удивляйтесь, что я помню такие подробности: встреть я завтра того же Lebrun, и даже не постаревшим, – я бы его не узнал. А женщину – я думаю – и вы бы узнали, если бы могли увидеть после моего рассказа.

Описать ее черты легко, и в них не было ничего замечательного. Красива, бледна, спокойна. Кажется, молода – вероятно, нет и тридцати. Брови ровные-ровные, тонкие, круглые, как на всех старинных портретах. Темные, без всякого блеска, волосы, не очень пышные, мягко приникающие к щекам. Вот и все. Черное платье, со странным, очень низким и очень узким вырезом, полоска белой кожи, идущая вниз. Глаз я даже и не видал еще, она их опустила. И молчала, как я.

Вот она заговорила. Улыбнулась. Рот очень маленький, алый; тесные зубы. Красива. Молода. Довольно обыкновенно красива, и мне даже не очень нравится. Не восхищение, не удовольствие и не отвращение она подняла в моей душе, а ужас. Тот ужас – необъясненный никем, злостный, черный страх, который все мы испытали… хотя бы в детстве, ночью, одни, в темноте. Этот страх отличен от всех других уже тем, что он – половинчатый, и вторая половина его – восторг, точно такой же злостный, черный и несравнимый ни с каким восторгом, как и ужас с другими ужасами.

Но я был не ребенок и невольно начал рассуждать: что же в ней, собственно, ужасного? Обыкновенна. Красива. Молода-Молода! Вот оно. Вот где. Несомненно молода. Тридцати нет. Двадцать семь… двадцать восемь.

Как бы не так! Двадцать семь – и пятьдесят, восемьдесят, сто двадцать – нет, двести, триста, – не знаю – ей тысяча лет! И все-таки несомненно, что ей не больше двадцати восьми.

Я обернулся к моему приятелю:

– Послушайте, на одну минуту: кто эта дама, около Эльдона, влево?

Lebrun, оторванный от разговора, взглянул на меня рассеянно и поспешно:

– Которая? В розовом?

– Нет, нет, еще левее, в черном. Как ее имя?

– Ах, эта! Ее имя? Ее зовут графиня Ивонна де Сюзор.

– А граф, ее муж, он здесь? Который?

Приятель, уже опять отвернувшийся было от меня, удивленно сказал:

– Ее муж? Она не замужем. Она дочь покойного графа де Сюзор, того самого…

И он окончательно меня покинул, уверенный, что удовлетворил мое любопытство.

Но я больше не спрашивал. Я опять смотрел на графиню, и в эту минуту она подняла глаза. Какие ошеломляющие, неприятные глаза! Бледные-бледные, большие, может быть, синеватые, может быть, сероватые – не знаю, только очень бледные, сквозные, точно из цветного хрусталя, и старые. Мертвые. И все-таки это были молодые и живые глаза.

По глазам ее я понял, что ошибся, впал в невольное, почти поэтическое преувеличение, когда говорил себе, что ей – «триста, пятьсот, тысяча лет»!

Нет. Тысяча – это почти вечность для нас. Вечное – никогда не старо. А графиня, при ее молодости и красоте, была именно стара той старостью, человеческой дряхлостью, около которой совсем близко, рядом – стоит человеческая смерть.

Я увидел, что бледные глаза остановились на мне. Взор был совершенно спокоен, но не безразличен и как будто не случаен даже. Она смотрела на меня, точно давно меня знала, но не радуется и не удивляется встрече. Точно так и нужно, чтобы я смотрел до невежливости упорным, неотрывным взором в ее – бесспорно прекрасное, бесспорно молодое лицо. Lebrun на этот раз сам обратился ко мне и заставил меня опустить наконец глаза.

– Вы спрашивали меня о графине? Неправда ли, очень интересное лицо? Хотя есть что-то… и отталкивающее. Вы не находите?

Я подумал, что он ничего не понимает и не поймет, а потому сказал уклончиво:

– Пожалуй…

– Да, прелестная девушка и милый товарищ, хотя должен сказать, что я не горячий поклонник ее произведений. Есть манера, есть школа, есть, если хотите, что-то своеобразное, но…

– Позвольте, какие произведения?

– Да ее картины, parbleu! Разве я вам не сказал, что она – художник? В последнем Салоне была ее картина и несколько этюдов. Она очень известна. Вы, наверно, заметили. Рэ. Рэ!

Рэ! Так это она подписывает свои холсты двумя нескромными буквами? Так это – Рэ? Не могу сказать, чтобы от такого открытия что-нибудь для меня стало яснее. Напротив, спуталось и усложнилось. Как не знать Рэ? О Рэ говорили. Говорили, что картины ее «производят тяжелое впечатление» – это все поняли, то есть так поняли. А я ничего не понял. Отошел, помню, с сумбуром – даже не в голове, а во всем моем существе. Я тотчас же припомнил ее «Костер», который видел в прошлом году. Описывать картин нельзя, да и не нужно. И то, что в «Костре» смутило меня – совсем уж не покорно словам. В словах оно слишком обычно. Хорошо написано, кажется. Темнота. Большой огонь посередине. Слева полуголая старуха – и справа такая же. От одной как-то видна тень, и кажется, что три старухи, причем одна – огромная. Вот и все. В старухах – костяная неподвижность, земляная тяжесть. Третья, теневая – огромная, но легкая. Вот и все. Смысла никакого – да Бог их знает, эти картинные смыслы! Но очень помнится и мутит душу.

Тянулся, тянулся обед… Lebrun стал болтать со мной, опять перешел к Рэ, видя, что я опять на нее смотрю, и сказал:

– Когда этот чудак, отец графини, умер… Я перебил его:

– О графе я ничего не слыхал.

– Неужели? А я думал, что слышали. Судьба графини замечательна. Сюзор, миллионер и затворник, шестнадцать-лет не считал ее своей дочерью. Она жила почти в нищете, с полусумасшедшей матерью, урывками училась, бегала в Лувр и в рисовальную школу… И вдруг все изменилось: отец взял ее к себе, ее и мать, которая, впрочем, скоро умерла, окружил царской роскошью: лучшие учителя, путешествия, свобода и его любовь, потому что он, говорят, умер у нее на руках

и в последнее время не допускал к себе никого, кроме дочери.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Закрытие… открытие… (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/gippius_zinaida/vymysel

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить